

# МЫ – ДЕТИ ВОЙНЫ.

Повесть.

Киев бомбили. Одессу - тоже.

Был июньский вечер, но солнце ещё не село, и, когда люди во дворе двухэтажной коробки закричали: « Бомба летит! В подъезд скорей!» шестилетняя девочка, как все, посмотрела на небо, и тусклый солнечный диск приняла за эту самую бомбу.

Но её уже схватили за руку и потащили в ближайший подъезд, соединявший двор с улицей Пожарского.

Это был мальчик, старше неё года на два или три.

Бомба взорвалась за домом, уронив во двор несколько осколков.

Мальчик выскочил из подъезда, подобрал пару осколков, а один положил на ладонь девочки: « Держи на память. Такого, может, больше не будет. Потом хвастаться будешь!»

Осколок закрыл всю детскую ладонь: от указательного пальчика до мизинца. Он был тёплым, шершавым и, даже, колючим, и девочка бросила его.

Вскоре домой прибежал отец и скороговоркой приказал матери:

- Собирай скорей самые необходимые вещи. Завод эвакуируется. Спасают станки, спасают семьи с малолетними детьми. У меня – бронь.

Тёща не входила в его планы, но жена заявила:

- Я без мамы не поеду. Что будет, то и будет. Мы умрём вместе. –

Она только что успела, со слезами на глазах, сжечь комсомольский билет, как ей было велено на закрывшемся в тот же день швейном предприятии.

- Нельзя оставаться. Немцы всех евреев вешают без разбора. Надо спасти ребёнка. -

Но женщина была непреклонна.

Так наша семья из четырёх человек оказалась в холодной и голодной Тюмени на долгие четыре года. Зато было тихо. Очень тихо. Не летели бомбы, не мелькали люди. Весь шум сосредоточился на заводе. Родители

изготавливали мины. Их нужно было для фронта очень много; и работали там, как на фронте.

Через год бабушки не стало. Сначала она стала терять рассудок. Понимая, почему трое сыновей с фронта не пишут, что живыми оттуда не возвращаются, измучанная недоеданием, лишениями, не надеясь на возможное возвращение к нормальной жизни, находясь в очень преклонном возрасте, старушка скончалась.

Тогда меня взяли в детский сад, круглосуточный. Это был райский уголок. Нас научили делать разную утварь из папье-маше, показали на экскурсии гончарное производство, мы делали новогодние украшения на уличную ёлку, замораживая подкрашенную воду в железных формочках. А самым большим счастьем были обеды.

Но однажды со мной рядом за столом оказался сумрачный парнишка. Голова, постриженная под машинку, с кончиками русых волос будто повисла, губы сжаты, глаза не хотят никуда смотреть. Мне это не понравилось; и, когда передо мной поставили ароматный суп в тарелке с цветочками по кругу, а ему налили суп в тарелку с двумя будничными зелёными полосками, всё, что я придумала, - Это подразнить его, похвастаться.

Воспитательница схватила мою тарелку, вылила суп в кастрюлю, а потом налила мне в такую же простую тарелку.

Теперь я насупилась. За что меня обидели?

А кто-то из взрослых за моей спиной тихо сказал: « У него отец погиб на фронте. Недавно, совсем, сообщили».

Теперь мне стало совсем гадко. Хотела – не хотела, а вот ведь какой подлый поступок совершила. Глупо-то как, и мальчика жалко.

Кормили в саду хорошо, а, вот, лечить не чем было и некому. Жили по принципу: «Всё – для фронта, всё – для победы».

Однажды в субботу нас осталось двое: я и Клара. Это была высокая взрослая девочка с добрым спокойным нравом. У неё, кроме бабушки, никого не было, и она страдала больными ушами. Про неё воспитатели говорили: « Её нельзя больше держать в саду, нам попадёт за то, что мы скрываем её возраст, а жалко, куда она пойдёт? Учиться она не сможет: - она почти ничего уже не слышит, и как ей помочь, чем полечить?»

Клара стояла у стены возле окна, сведя брови от боли в ушах. Я стояла рядом, дожидаясь, когда меня заберут домой на воскресенье. Я занозила ладонь, и на ней образовался волдырь. Боли особой не было, но жар шёл, и

Клара, заметя волдырь, стала дуть на него. Это было приятно, и я была ей благодарна. Я видела, что ей дуть трудно. От этого в ушах становилось больнее, но как её отблагодарить и как облегчить её боль?

Я снова совершила глупый и очень дурной поступок: - я дунула ей в ухо. Я и сейчас чувствую её боль, и мне снова стыдно за этот поспешный глупый и непоправимый поступок.

Кончился детский сад, где нас кормили до восьми лет.

В школе было голодно. Однажды мама спрятала в карман рабочего халата кусочек от своего хлебного пайка, завернула в обрывок газеты и радовалась, что угостит меня вечером. Она работала в малярном цехе, где красила мины и сушила в больших глубоких печах. Как же она испугалась, когда я отказалась от угощения! Первая мысль была – заболел ребёнок. Потом увидела сморщенный носик, понюхала хлебушек и всё поняла. Брызнули слёзы обиды за свою недалёковидность, за порчу такого драгоценного кусочка.

Отец принёс весть, что люди едят, и кошек, и собак, и, даже мышей. С этим, он принёс мышеловку. Долго ждать не пришлось. Мышь попала на какую-то приманку. Сняв шкурку, отец поджарил мышь на сковородке и торжественно протянул мне на вилке.

Мама с этим никак не могла смириться; и, когда я, не касаясь губами, а лишь зубами, будто зубы – это продолжение вилки, куснула тельце жертвы людского голода, мама закричала: «Нет! Нет! Нет!». А потом посетовала: «Зря масло потратили».

Это - не самое горькое воспоминание из того времени.

Мне случилось видеть глаза умирающей от голода одноклассницы. Я и теперь помню, какие это глаза, эту пелену голодной смерти.

Она была спокойной дисциплинированной девочкой, и в последний день своей жизни она пришла в школу с причёсанными и заплетёнными в две косы волнистыми светлыми волосами. Сидела молча.

Её отправила умирающая от истощения мать в надежде: - может, там что-нибудь дадут съесть.

Отца уже не было в живых. И не было у них статуса: Отец погиб с честью, храбро защищая Родину.

Храбрым отец не был. Скорее – слаб и тщедушен. Особым мастерством и ловкостью на заводе не отличался, и, потому начальник цеха больше не хлопотал бронь для него. Так он оказался призванным в ряды бойцов доблестной армии. Такого поворота в жизни он никак не ожидал, и руки его совсем опустились.

В Тюмени оставалась жена, растившая двух девочек и никогда не работавшая прежде.

Баня, куда повели мыться призывников перед отправкой в долгий поход, была устроена так, что кран с горячей водой находился в шаговой доступности от крана с холодной водой. Нашему бедолаге досталось набрать полтаза горячей воды, а подойти к холодной воде мешала толпа крепких и злых парней, готовых биться насмерть за Родину.

Тот, кто оказался прижатым к его тазику с горячей водой, не хотел быть ошпаренным прежде, чем пойдёт в атаку на врага, и, инстинктивно, чуть приподнял край таза от себя.

В эту секунду под натиском толпы таз оказался опрокинутым, и кипяток плюхнул, обварив всё, что ниже пояса того, кто держал таз, брызнув по ногам того и другого. Как ни визжал пострадавший, услышать его в сплошном шуме толпы и воды было почти невозможно.

Оказавшись на больничной койке, он был обвинён в членовредительстве; во избежание гангрены, был лишён мужской полноценности, но, как полноценный солдат, был отправлен в штрафной батальон. На войне, как на войне.

А теперь его дочь умирала от голода. В классе все знали, шептались, что она скоро умрёт, но её никто не пожалел, от неё отворачивались. Или боялись оказаться причастными к семье труса, дезертира, или, просто, знали, что спасти её невозможно? Нечем. Все голодали. И у меня, ни в кармане, ни в тряпичном портфеле ничем съестным и не пахло. Подумалось: «Если бы во рту что-то было, достать и дать кусочек». Но во рту ничего не было. Даже слюна высохла.

Прозвенел звонок, я села за свою парту, а она ушла домой к маме, чтоб застать её ещё живой, прикоснуться к тёплому телу, потом закрыть глаза, которые и открыты были только на половину, закрыть и заснуть навсегда.

Война окончилась, измотав силы, и зачинщиков войны, и победителей. И это произошло на территории Германии. Россия не пошла на примирение, пока не добилась полного разоружения Германии и заслуженного наказания изуверов.

Светлая память невинно погибшим, тем, кто сражался, умирал, пытаюсь сохранить свою страну, вернуть прежнюю, довоенную жизнь себе или детям, друзьям, потомкам, нам с Вами.

Все страдания переносились ради прежней жизни. Где она? Скорее туда.

Содрогнувшись, мама стала вспоминать вслух, как она покидала Одессу.

- Я ещё успела наварить две бутылки варенья; одна – с вишнёвым вареньем. Поставила их в новый сервант, на котором стояли двенадцать мраморных слоников на счастье. Помнишь? - спросила она меня. – Квартиру закрыла, а ключ отдала дворничихе на сохранение. Попрощалась и сказала: «Может, Бог даст, ещё свидимся. Будьте здоровы!» Как оно там, что? Может, и от дома ничего не осталось. –

Мама взяла отгрызок химического карандаша и принялась писать письмо на наш одесский адрес для дворничихи или тому, кто откликнется.

Ждали долго. Ответ пришёл от соседки по фамилии Гапыч. Но звали её все, как принято, в простонародье, Гапычка.

Она писала, что всё из квартиры вынесли в подвал и там сохранили, но в квартире по ордеру живёт семья, чью квартиру разбомбили, а муж новой хозяйки погиб на фронте.

- Поживёте у меня, пока найдёте себе квартиру. Ещё много здесь свободных квартир,- писала Гапычка.

Не помню, чтоб до войны у нас были какие-нибудь отношения с Гапычкой, но до крайности наивная мама уцепилась за её приглашение.

Чтоб уволиться с военного завода в Тюмени, маме понадобилось прежде уйти в декретный отпуск, что она и сделала при непосредственном содействии отца. Сам он ещё на год оставался в Тюмени, а мама со мной и с большим животом да с вещами вернулась к родному дому.

Первым, кого я увидела, был Коля. Тот самый, который втащил меня в подъезд, потом дарил осколок бомбы. Наверное, это был лучший друг моего младенчества. Когда меня не пускали во двор, я, сквозь слёзы, твердила одно только имя – Кока, или Кокачка; и родители долго подразывали меня за это.

Ещё я посещала в те годы девочек из многодетной еврейской семьи. Сейчас нам сказали, что их всех повесили. Вывели во двор и повесили.

И Коля, и эти девочки жили на первом этаже, поэтому, спустившись, я сразу попадала в их компанию.

Теперь Коля сказал:

- Ну, здравствуй! Ты помнишь меня?

- Помню.

- Не помнишь. Ты была очень маленькая. Что ты помнишь?

- Вы мастерили телефон.

- Какой ещё телефон? Почему ты меня на Вы называешь?

- Ты с мальчиком мастерил телефон из спичечных коробков. Соединял их ниткой...

Она хорошо помнила, - он подносил к её уху и давал послушать.

Но закончить фразу ей не дали.

К ним подошёл совсем взрослый парень в чёрной заношенной одежде со злым выражением лица, приблизился к Коле и зашипел вопросительно:

«Нашёл единомышленника? Теперь ты с ними?» И Коля шепнул мне: «Иди домой». Домой – это к Гапычке.

На другой день, когда мама ушла по разным объявлениям и слухам искать будущее жильё, а Гапычка собралась на базар, мне велели во дворе погулять. Двор был пуст. В стороне двора на треноге стоял чугунок с застывшим гудроном. Я знала, что гудрон разогревают, когда надо просмолить крышу, чтоб не протекала, столбы, чтоб не гнили; знала, что из него лепят смоляных чёртиков, и, что из горячего гудрона палец можно вытащить без кожи.

Тут откуда ни возьмись, появился мальчик меньше меня, ткнул пальцем в чугунок, погладил блестящую поверхность и сказал:

- Потрогай.

- Зачем?

Я не хотела, но зачем ему это надо? Я чуть коснулась холодной поверхности.

Делать было нечего. Я просто шаталась в пустом дворе; и снова тут появился этот мальчишка. Он как-то приманил меня к чугунку; но я заметила, что гудрон каким-то образом растаял, от него идёт тепло, тёплые пары заволакивают раньше по-другому блестящую поверхность. Костра под ним не было. А, ведь, он недавно был холоден?

Мальчик снова настаивал: «Потрогай». Где-то сзади услышала шорох, оглянулась. Ко мне бежал взрослый парень. Он кинулся так, как кидаются, чтоб спасти кого-то. Но лицо – злое...

Не тратя секунд, я попятилась от чугунка, и, затем убежала без оглядки.

Пришла Гапычка, потом пришла мама. Они озабоченно обсуждали свои дела. На завтрашний день намечалось серьёзное мероприятие, а сегодня Гапычка решила показать маме свою заветную комнату, которая всегда была закрыта на ключ. Окно тоже было всегда занавешено, чтоб ни пыль, ни свет не коснулись содержимого.

Потом мама рассказывала: «Это был просто музей. Там - такие картины, такая мебель! Такое я видела, только в Ленинградском Эрмитаже, когда ездила по путёвке. Это же всё награблено из богатых домов и музея.

Надо сказать, что Гапычка жила со своим взрослым сыном, которого дома, почти, никогда не было.

Что же намечалось на завтра? Гапычка с мамой уходили, а мне наказали сидеть на кухне и не открывать никому дверь. Кто бы ни стучал - не

открывать. Сидеть тихо. Особенно её сын настаивал очень серьёзно: « Не отвечать, не бояться, сидеть тихо», - сказал он и вышел первым.

Я подумала: « Как же это скучно будет просто сидеть. Хоть бы кусочек карандаша дали, что-нибудь порисовать». Машинально глаза стали скользить по настенным шкафчикам под потолком. И тут Гапычка испугалась за своё добро. Первоначальный план был сломан.

Меня вывели на общий балкон, а квартиру заперли снаружи.

Потоптавшись у окна соседней квартиры, я вызвала жалость у соседки. Она вышла, спросила, почему я не гуляю, и дала мне мраморный шарик, показав, как хорошо он отпрыгивает от плит, устлавших балкон.

Игра кончилась тем, что шарик с пола долетел до губы и оставил большую шишку. Соседка, скрывая усмешку, забрала шарик.

Теперь на балконе появились две старухи в длинных платьях или юбках, высокие, очень тощие и похожие на стариков. Они подёргали дверь Гапычки, а когда поняли, что нет никого дома, грубо спросили:

- А ты что тут делаешь? Иди во двор! Погуляй. –

Я ответила с гордостью законопослушного человека:

- А мне не велели никуда уходить.

- Кто не велел? –

И я назвала маму и Гапычкиного сына.

Так кончился день. Пришла мама с Гапычкой. Пришёл её сын.

Он сидел на балконе в густых сумерках южного лета. Согбенный. На вид, как мне показалось, лет до тридцати. Сидел тихо, понуро, глядел внутрь себя, о чём-то думал. Гапычка плакала, а мама не знала, как её утешить.

- Мы завтра же съедем, это всё из-за нас. Не надо было нам приезжать сюда, вообще. –

Мама спрашивала, кто это мог сделать, Гапычка через рыдания причитала:

- Ничего не известно. Они набрасывают мешок на голову и бьют так, чтоб не жил долго. И детей у него не будет, и жить он не будет. Все внутренности перебиты. И кто это делает, неизвестно, и за что. Жаловаться некому и нельзя: - ещё хуже будет. –

Вот так, война кончилась, - вражда осталась. Власть менялась, слабые духом ломались, цепляясь за жизнь.

«С пересыпи надо съезжать, - решила мама, - здесь и до войны не было спокойно, а сейчас совсем страшно».

Не так уж много нашего добра сохранилось в подвале. На новое жильё мы перевезли мамину кровать и бабушкин буфет из красного дерева. Когда началась сырая одесская зима, мама попыталась спалить в печке верхнюю часть буфета, но топор в её руках не мог осилить ценную породу, только испортил изделие. И зиму эту, без отца и с маленькой сестрёнкой, мы опять мёрзли и голодали.

Когда отменили талонную систему на хлеб, все обрадовались: «Хлеб есть – голода нет».

Однажды мама послала меня за хлебом и сказала: «Будут просить бедные люди, можешь дать довесочек маленький». Довесочек достался первой, протянувшей руку, ещё возле прилавка. Но магазин был переполнен покупателями, и нищими. Два куса размером меньше полбулки, я подняла вверх, чтоб не уронить и не запачкать в толпе, показывая, что нет уже довесков. Но, тут, к одному куску протянула костлявую руку очень старая, совсем сухая, с прозрачной кожей на костях, бабушка и вцепилась в мой хлеб. Я уступила ей с какой-то брезгливостью, а мама, когда увидела меня с половинкой хлеба, всплакнула с обиды, а после сказала: «Ладно. Значит, есть ещё беднее нас». Соседка же сказала: « Это из деревень приезжают. Там совсем нечего есть».

Взрослые нам всегда говорили, чтоб мы не вспоминали плохое, что его надо забыть, что это не повторится больше.

Но, чтоб это не повторилось, дети войны, может, должны уже рассказать об этом?

ФИРА.

Май, 2017.